

Происшествие — текст 2 из 2

Как случилось, что я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать, — не могу понять. Не мог же, в самом деле, натолкнуть меня на эти думы тот господин. Потому что эти господа так часто встречаются, что я уже привыкла к их проповедям.

Да, почти всякий из них, кроме совершенно привыкших или очень умных, непременно заговаривает об этих не нужных ни ему, ни даже мне вещах. Сперва спросит, как меня зовут, сколько мне лет, потом, большей частью с довольно печальным видом, начнет говорить о том, что «нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни?» Сначала меня мучили такие расспросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.

Но вот уже две недели всякий раз, когда я невесела, то есть не пьяна (потому что разве есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?), и когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу: не отвязываются эти тяжелые думы; одно средство забыть — уйти куда-нибудь, где много народа, где пьянствуют, безобразничают. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь... Тогда — легче. Отчего прежде этого не бывало, с самого того дня, как я махнула рукой на все? Больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате, все время провожу одинаково, также бываю в разных Эльдорадо и Пале-де-Кристалль, и все время если и не было весело, так хоть не думалось о том, что невесело; а теперь вот — совсем, совсем другое.

Как это скучно и глупо! Ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в «Стрекозе» (которую приносит мне один знакомый довольно часто и уж непременно, когда в ней появляется что-нибудь «пикантное»), и в «Стрекозе» я видела рисунок: посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, почтенная такая, а в другую сторону, вниз — девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я — вот как теперь; вторая — улицу метлой метет, а третья — та уж совсем отвратительная, гнусная старуха. Но только уж я не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потом в Екатериновку. На это меня хватит, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этот художник! Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава богу, ведь и я могу блеснуть где-нибудь на Невском французским или немецким языком! И рисовать цветы, я думаю, еще не забыла, и «Calipso ne pouvait se consoler du depart d'Ulysse» помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась дурой, набитой дурой, одна у добрых родных, уверявших, что они «приютили сироту», и пылкие пошлые речи того фата, и как я сдуру обрадовалась, и всю ложь и грязь там, в «чистом обществе», откуда я попала сюда, где теперь одурманиваюсь водкой... Да, теперь я стала пить даже и водку. «Horreur!» — закричала бы кузина Ольга Николаевна.

Да и в самом деле, разве не horreur? Но виновата ли я сама в этом деле? Если бы мне, семнадцатилетней девчонке, с восьми лет сидевшей в четырех стенах и видевшей только таких же девочек, как и я сама, да еще разных маманов, попался не такой, как тот, с прическою a la Capoule, любезный мой друг, а другой, хороший человек, — то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Разве есть они, хорошие люди, разве я их видела и после и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети (почти дети — четырнадцати — пятнадцати лет) из «хороших семейств», и старики, лысые, параличные, отжившие?

И, наконец, могу ли я не ненавидеть, не презирать, хотя я сама презираемое и презренное существо, когда я вижу среди них таких людей, как некоторый молодой немчик с вытравленным на руке, повыше локтя, вензелем? Он сам объяснил мне, что это — имя его невесты. «Jetzt aber bist du, meine liebe, allerliebstes Liebchen», — сказал он, смотря на меня масляными глазками, и вдобавок прочел стихи Гейне. И даже с гордостью объяснил мне, что Гейне — великий немецкий поэт, но что у них, у немцев, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллер, и что только у гениального и великого немецкого народа могут рождаться такие поэты.

Как мне хотелось вцепиться в его скверную смазливую белобрысую рожу! Но вместо этого я залпом выпила стакан портвейна, которым он меня поил, и забыла все.

Зачем мне думать о своем будущем, когда я и так знаю его очень хорошо? Зачем мне думать и о прошедшем, когда там нет ничего, что могло бы заменить мою теперешнюю жизнь? Да, это правда. Если бы мне предложили сегодня же вернуться туда, в изящную обстановку, к людям с изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталась бы умирать на своем посту.

Да, и у меня свой пост! И я тоже нужна, необходима. Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. «Это наш философ, наш русский философ», — говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы — «клапаны для общественных страстей...» И слова гадкие, и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти «клапаны».

Впрочем, недавно и мне пришла в голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который приговорил меня к пятнадцати рублям штрафа за неприличное поведение в общественном месте.

В ту самую минуту, когда он читал решение, причем все встали, я подумала вот что: «За что вся эта публика так презрительно смотрит на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность; но ведь это — должность! Этот судья тоже занимает должность. И я думаю, что мы оба...»

Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. В моей голове все перемешалось: и та скверная зала, где я сегодня вечером буду бесстыдно плясать, и Литовский замок, и эта скверная комната, в которой можно жить только пьяной. В висках у меня стучит, в ушах звон, в голове все куда-то скачет и несется, и я сама несусь куда-то. Мне хочется остановиться, удержаться за что-нибудь, хоть за соломинку, но у меня нет и соломинки.

Лгу я, есть она у меня! И даже не соломинка, а быть может, что-то понадежнее, но я сама до того опустила, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору.

Кажется, это случилось в конце августа. Помню, тогда был такой славный осенний вечер. Я гуляла в Летнем саду и там познакомилась с этой «опорой». Этот человек не представлял ничего особенного, кроме разве какой-то добродушной болтливости. Он рассказал мне чуть не о всех своих делах и знакомых. Ему было двадцать пять лет, звали его Иваном Ивановичем. Собою он был ни дурен, ни хорош. Он болтал со мною, как с каким-нибудь знакомым,

рассказывал даже анекдоты о своем начальнике и объяснил мне, кто у них в департаменте на виду.

Он ушел, и я забыла о нем. Через месяц он, однако, явился. И явился пасмурный, печальный, похудевший. Когда он вошел, я даже немного испугалась незнакомого, нахмуренного лица.

— Вы меня помните?

В эту минуту я вспомнила его и сказала, что помню.

Он покраснел.

— Я потому думал, что вы не помните, что ведь много...

Разговор пресекся. Мы сидели на диване; я в одном углу, он в другом, как будто в первый раз выехал с визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндр в руках держал. Сидели мы довольно долго; наконец он приподнялся и поклонился.

— Так до свиданья-с, Надежда Николаевна, — произнес он со вздохом.

— Как вы узнали мое имя? — закричала я, вспыхнув. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгения.

Я крикнула на Ивана Ивановича так сердито, что он даже испугался.

— Ведь я ничего дурного, Надежда Николаевна... Я ни одному человеку... А я знаком с Петром Васильевичем, участковым, так он мне рассказал о вас все, как было. Я хотел сказать вам: Евгения, да язык не послушался, и я ваше настоящее имя произнес.

— Да вы скажите, зачем вы пришли ко мне?

Он молчал и печально смотрел мне в глаза.

— Для чего? — продолжала я, все разгораясь. — Какой интерес я представляю для вас? Нет, вы лучше не ходите ко мне; знакомства я с вами вести не буду, потому что у меня нет знакомых. Я знаю, зачем вы пришли ко мне! Вас заинтересовал рассказ этого полицейского. Вы подумали: вот редкость — образованная девушка в какую жизнь попала... Вы вздумали спасти меня? Подите от меня, мне ничего не нужно! Оставьте меня лучше издыхать одну, чем...

Тут я взглянула на его лицо и остановилась. Я видела, что била его каждым словом. Он не говорил ничего, но один вид его заставил меня замолчать.

— До свиданья, Надежда Николаевна, — сказал он. — Очень жалею, что огорчил вас. И себя тоже. До свиданья.

Он протянул мне руку (я не могла не дать ему своей) и вышел медленными шагами. Я слышала, как он спускался по лестнице, и видела в окно, как он, согнув шею, перешел через двор какою-то медленною и качающеюся походкою. У ворот он оглянулся, посмотрел на мои окна и исчез.

И вот этот-то человек может быть моей «опорой». Стоит мне только заикнуться, и я сделаюсь законной женой. Законною женою бедного, но благородного человека, и даже сделаюсь бедною, но благородною родительницею, если только господь во гневе своем еще пошлет мне ребенка.